

ЗВУК



Семён Маркович

В начале было Слово

Семён Маркович

Звук

«Автор»

2026

Маркович С.

Звук / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

Париж, 1871 год. Молодая журналистка стоит на баррикаде Коммуны с блокнотом в руках. Рядом — незнакомец, который печатает листовки в подвале и верит, что пятьсот листков изменят мир. Наутро его расстреляют. Она пообещает написать о нём крупным шрифтом. Обещание растянется на семьдесят лет — от телеграфного ключа на Северном вокзале до радиоприёмников Берлина, от искры Маркони над океаном до голоса Геббельса из миллиона чёрных ящиков. Крик на баррикаде слышали триста человек. Телеграмма долетала до Лилля за четыре минуты. SOS с «Титаника» приняли два континента. А потом один голос из ящика вошёл в каждый дом — без спроса, без приглашения, без билета. Роман о звуке — о том, как слово отрывается от тела: сначала провод, потом волна, потом голос. И голос, спасавший людей в ночь кораблекрушения, оказывается тем же инструментом, который ведёт их на костёр. О женщине, которая стояла, когда все сидели, — пока не села.

© Маркович С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая. Провод	10
Глава первая	10
Глава вторая	17
Голос: Телеграфистка с Северного вокзала	23
Глава третья	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Звук

Пролог

Фултон, штат Миссури. 5 марта 1946 года.

Микрофон фонил.

Эрл Хиггинс стоял на коленях за кулисами спортивного зала Вестминстерского колледжа и крутил верньер на усилителе — латунный, тёплый от пальцев, с тугим ходом на четверть оборота. Фон шёл низкий, утробный, шестьдесят герц — наводка от силового кабеля, который электрик протянул утром поперёк сцены, не догадавшись развести его с микрофонным на три фута, как Эрл просил. Эрл просил дважды. Электрик — Хэнк Маллиган, с Третьей улицы, тот, что чинил проводку в баптистской церкви и закоротил орган на Пасху, — оба раза кивнул и оба раза сделал по-своему.

Теперь динамик фонил, и через двадцать минут к микрофону должен был подойти Уинстон Черчилль.

Зал гудел. Три тысячи человек — в городке, где по воскресеньям на главной улице можно пересчитать прохожих по пальцам, а пальцев хватит. Эрл видел их снизу, из-за фанерной перегородки: первые ряды — костюмы, галстуки, крахмальные воротнички, запах одеколона и мокрой шерсти, потому что утром прошёл дождь и тротуары не просохли. Дальше — студенты, военные из Форт-Леонард-Вуд в форме цвета хаки, жёны фермеров в шляпках, купленных вчера в магазине Дженкинсов на Корт-стрит — Эрл знал, потому что жена его, Дотти, тоже купила голубую, с лентой, и утром примеряла перед зеркалом и спрашивала, не слишком ли, а он сказал — нет, нормально, — и ушёл проверять микрофоны, которые не спрашивают, хороши они или нет.

Он вытер потные руки о брюки. Март в Миссури — рано для пота, но зал набит, и от трёх тысяч тел поднимался жар, и пахло тем, чем пахнет любое скопище людей, ждущих чего-то важного: нафталином от выходных пиджаков, табаком с крыльца, потом, волнением. Волнение имеет запах — кисловатый, резкий, похожий на запах нагретой радиолампы. Эрл знал этот запах — он чинил приёмники.

До войны он чинил приёмники в мастерской на Маркет-стрит, между скобяной лавкой и парикмахерской Фрэнка Делани, — паял контакты, менял лампы, подстраивал конденсаторы. Женщины приносили свои «Филко» и «Зениты», обёрнутые в кухонные полотенца, и объясняли: шипит, хрипит, ловит только проповедника из Сент-Луиса, а хочется музыку. Эрл брал аппарат, снимал заднюю стенку, и оттуда несло пылью, прогорклым трансформаторным маслом и ещё чем-то — тем запахом, который издаёт электричество, когда ему тесно в проводе: горячим, чуть сладковатым, как будто провод потеет.

На войне он стал радистом — Третья армия, Паттон, Арденны. Рация SCR-300, семнадцать килограммов на спине, батарея на шесть часов, частота — сорок четыре мегагерца, и голоса в наушниках — свои и чужие — перемешанные с треском эфира, с воем глушилок, с тем белым шумом, который заполняет пространство между словами и в котором, если слушать долго, начинают мерещиться другие голоса, нищие, неоткуда, просто шум, притворяющийся речью.

В Арденнах, в декабре сорок четвёртого, шум в наушниках спас ему жизнь. Немецкая контратака — Эрл лежал в окопе, слушал эфир, и сквозь помехи различил слово — одно, немецкое, «Feuer», — и успел крикнуть «Ложись!» за секунду до того, как снаряд вспорол ельник за их позицией. Ель упала, и от неё пахло смолой — густо, сладко, живо, — и этот запах живого дерева среди мёрзлой земли и пороховой гари Эрл запомнил отчётливее, чем

лица людей рядом, потому что лица были серые, одинаковые, как фон в наушниках, а запах — единственный.

После войны он вернулся в мастерскую — приёмники, паяльник, канифоль. Дотти родила дочку, назвали Пегги. Пегги болела — ухо, отит, температура под сто два, и Дотти сидела ночами, и Эрл сидел рядом, и из приёмника на кухне, не выключенного, бормотало что-то, и Эрл слушал — не слова, а звук, тот фоновый гул чужих голосов, который заполнял тишину дома, и гул этот был единственным утешением, не потому что утешал, а потому что существовал.

Пегги поправилась — температура упала, ухо прошло.

А потом позвонили из колледжа и спросили, может ли он обеспечить звук для мероприятия. «Какого мероприятия?» — «Лекция. Приезжает Черчилль.»

Эрл подумал, что ослышался, переспросил — не ослышался. Уинстон Черчилль — тот самый, голос которого Эрл ловил по приёмнику всю войну из Лондона. Низкий, хрипловатый, рокочущий. «Мы будем сражаться на пляжах.» От этого голоса в комнате становилось теснее — он занимал пространство физически, как запах, как жар, как присутствие человека, которого нет, но который — есть, через эфир, через океан, через лампы и провода. Этот голос приедет в Фултон.

В Фултон, штат Миссури — население семь тысяч, одна главная улица, один колледж и один Эрл Хиггинс.

Он согласился.

* * *

Микрофон стоял на деревянной кафедре, обшитой тканью, — EV 635, динамический, с хромированной решёткой, похожей на ноздрю большого аккуратного животного. Эрл выставил его на пять дюймов от края — дальше нельзя, ближе нельзя, пять дюймов — расстояние, на котором голос попадает в мембрану без искажений, без «пыхов» от взрывных согласных, без того свистящего призвука, который появляется, когда говорящий стоит слишком близко и дышит прямо в капсюль.

Кабель от микрофона шёл по полу, под ковром, через щель в фанерной перегородке — к усилителю, от усилителя — к четырём громкоговорителям, развешанным по углам зала на кронштейнах, которые Эрл вчера привинчивал сам, стоя на стремянке и матерясь шёпотом, потому что штукатурка крошилась, и шурупы держались на честном слове, и если бы один из громкоговорителей рухнул на голову кому-нибудь из трёх тысяч слушателей — газетам хватило бы заголовков на неделю. А от громкоговорителей в зале — ещё один кабель, по коридору, на крыльцо, где стоял передвижной передатчик радиостанции, и от передатчика — антенна, и от антенны — эфир, и от эфира — весь мир.

Цепочка: рот — воздух — мембрана — провод — усилитель — громкоговоритель — передатчик — антенна — эфир.

Голос одного человека — и весь мир.

Эрл подтянул фон до терпимого. Не убрал — убрать можно только разведя кабели, а двигать кабели сейчас нельзя, люди сидят, репортёры расставили свои блокноты, фотографии заняли углы, и секретная служба — четверо в одинаковых костюмах, с одинаковыми лицами — стояла у дверей и смотрела на Эрла так, как будто паяльник в его кармане мог быть оружием.

Боковая дверь открылась.

Первым вошёл Трумэн — невысокий, в очках, с улыбкой, которая начиналась на губах, но не доходила до глаз. За ним — Черчилль.

Эрл увидел Черчилля и первое, что подумал: маленький — по радио голос был огромным, а человек — нет. Широкий, грузный, с бульдожьим подбородком и сигарой, зажатой в левой руке, — он шёл к кафедре вразвалку, не торопясь, и полы пальто хлопали по ногам, и седые волосы причесали час назад, но за час они успели передумать.

Черчилль поднялся на сцену, положил листки на кафедру — стопку, пятьдесят штук, Эрл потом пересчитал по обрывкам, — и двинул микрофон.

Двинул.

Эрл сжал зубы: микрофон стоял на пяти дюймах, а Черчилль передвинул его на три. Голос теперь пойдёт с перегрузом, взрывные будут хлопать, дыхание ползет в мембрану. Но встать и поправить — нельзя, не сейчас, не при этом человеке.

Черчилль откашлялся. Звук прошёл по проводу, через усилитель, вылетел из четырёх громкоговорителей и ударил в стены зала — влажный, хриплый, как откашливается медведь, если медведи курят сигары. Три тысячи человек замолчали.

Не постепенно, как замолкает зал обычно, — волной, от первых рядов к последним, от тех, кто видел его лицо, к тем, кто видел только затылки впредисидящих. Замолчали разом. Как выключили рубильник.

Эрл замер у усилителя и положил пальцы на ручку громкости.

Черчилль заговорил.

Голос шёл густой, низкий, с вибрацией, которую Эрл чувствовал не ушами — грудью. Как отдачу от зенитки. Слова — английские, обычные, но расставленные так, что между ними оставались паузы, и паузы были нагружены не меньше, чем слова, и зал слушал паузы так же, как слушал слова, — с тем выражением лица, которое Эрл видел у раненых в госпитале, когда им давали морфий: расслабленное, сдавшееся, отдавшее себя чужой воле.

Эрл не слушал содержание — он слушал звук.

Частота голоса — около ста тридцати герц, баритон с обертонами, усиленный сигарным хрипом. Динамический диапазон — широкий: Черчилль начинал фразу тихо, почти интимно, и зал наклонялся вперёд, и Эрл поддавал громкости, — а потом голос взлетал, и зал откидывался назад, и Эрл убирал, и пальцы его на ручке двигались вместе с голосом, как пальцы дирижёра, только дирижёр управляет оркестром, а Эрл — рубильником между одним человеком и тремя тысячами. Между одним горлом и всей планетой.

Сорок шесть минут.

Эрл не помнил потом, о чём была речь. Не целиком, не связно. Обрывки. Что-то про тень, которая легла на мир. Что-то про Балтику и Адриатику. Что-то про занавес — слово, которое Эрл разобрал отчётливо, потому что Черчилль произнёс его иначе, чем остальные слова: придержал, замедлил, положил в воздух перед собой, как кладут тяжёлый предмет на хрупкую полку. Iron curtain. Эрл услышал, как металлом звякнуло «iron» и как прошуршала ткань в «curtain», — и подумал: этот звук пошёл по кабелю в передатчик, и из передатчика — в антенну, и из антенны — в небо над Фултоном, и оттуда — во все приёмники, в каждый дом, в каждую кухню, где сейчас кто-то сидит с чашкой кофе и слушает, как мир раскалывается надвое, и не знает этого, потому что слова ещё не долетели до сознания, они ещё в ушах, они ещё звук, просто звук, колебание воздуха, пойманное мембраной и превращённое в ток, и ток бежит по проводу, и провод не знает, что несёт, и антенна не знает, и эфир не знает, и только человек на другом конце — там, в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Маршалле и Джефферсон-Сити и в тысяче других городов — только человек услышит, и поймёт, и испугается.

Или не поймёт.

Или не испугается.

Или испугается не того.

Речь закончилась, зал встал, и аплодисменты — грохот ладоней — по микрофону ушли в эфир, и радиослушатели по всему миру слышали не только голос Черчилля, но и отклик трёх тысяч ладоней, и отклик этот был частью речи, её последним аккордом, незаписанным, непрочитанным, но услышанным.

Эрл выключил усилитель, фон смолк, и тишина навалилась — густая, ватная, после сорока шести минут звука.

Он вышел на крыльцо.

Март, сыро, небо над Фултоном — серое, ровное, без единого просвета, как потолок. На парковке стояли машины — «форды», «шевроле», один «бьюик», запylённый, с номерами из Канзас-Сити. В «бьюике» работал приёмник. Из открытого окна доносился голос — другой, не Черчилля, диктора, который пересказывал речь, переводил слова в слова, голос в голос, как эхо, только эхо повторяет точно, а диктор — приблизительно, и приблизительность — это уже интерпретация, а интерпретация — это уже не речь, а что-то другое, и что именно — Эрл не знал, и, наверное, никто не знал, и, наверное, в этом была проблема.

Он закурил. «Лаки страйк», из пачки, которую таскал в нагрудном кармане со вчерашнего вечера. Табак чуть подсох — дым шёл лёгкий, горький, и Эрл стоял на крыльце Вестминстерского колледжа, города Фултона, штата Миссури, страны, которая двадцать минут назад была одной, а теперь стала другой, — и курил, и слушал, как из приёмника в «бьюике» голос диктора произносит слова, которые только что прошли через его руки, через его усилитель, через его провод.

Железный занавес.

Эрл не знал, что это значит. Не политически — он читал газеты, не хуже других. А физически. Как звук. Занавес — это ткань, которая глушит. Занавес в театре падает — и за ним тишина, и голоса со сцены становятся глуше, и музыка — глуше, и всё, что было видно и слышно, — за занавесом, недоступное, приглушённое, чужое.

Железный занавес — это занавес, который не глушит, а отсекает. Через ткань ещё можно услышать. Через железо — нет.

Мир, который слышал друг друга шесть лет войны — по рациям, по приёмникам, через помехи и глушилки, сквозь треск и вой, — этот мир через двадцать минут речи разделился на тех, кто слышит, и тех, кого не слышат.

Одним голосом, одним микрофоном.

Эрл докурил и бросил окуроч в лужу — окуроч зашипел, коротко, тихо, и погас.

Он вернулся в зал, собрал кабели и отвинтил микрофон — EV 635, хромированная решётка, тёплая от сорока шести минут чужого дыхания. Убрал в футляр, обитый изнутри серым войлоком, и закрыл защёлки.

На полу у кафедры лежали листки — два, выпавших из стопки, исписанных крупным, размашистым почерком, с вычёркиваниями и вставками на полях. Эрл поднял один, посмотрел. Прочёл первую строку, не понял, перевернул. На обороте — чернильная клякса и рисунок: кто-то нарисовал кошку. Или собаку. Или что-то среднее — круглое, ушастое, с хвостом. Черчилль, видимо, рисовал, пока ехал в поезде и дописывал речь. Или не он — может, кто-то из свиты. Или проводник. Или никто. Листок лежал на полу, и клякса на нём подсыхала, и рисунок смотрел на Эрла пустыми глазами, и Эрлу показалось на секунду, что весь мир — вот этот рисунок: нарисованный на обороте чего-то важного и забытый на полу.

Он положил листок обратно. Не его. Чужие слова, чужой голос, чужая война — новая, холодная, без пуль и ёлок, без «Feuer» в наушниках, без запаха живой смолы. Война звука и частот — война тех, кто говорит в микрофон, против тех, кто слушает.

Эрл Хиггинс взял футляр с микрофоном и пошёл к выходу.

Дома его ждала Дотти в голубой шляпке, и Пегги с температурой девяносто восемь и шесть — нормальной, слава богу, — и ужин, и приёмник на кухне, из которого вечером скажут то же, что сказали днём, только другими словами, и другим голосом, и Эрл не будет слушать, потому что он уже слышал — не слова, а звук, и звук этот прошёл через его руки, и руки запомнили, и будут помнить, и через двадцать лет, и через сорок, когда Пегги вырастет, и выйдет замуж, и родит внуков, и Эрл будет сидеть на крыльце в Фултоне и слушать, как из транзисторного приёмника — нового, без ламп, без фона — говорят о стене в Берлине, о ракетах на Кубе, о спутнике, о лунной гонке, и всё это будет тот же голос, тот же провод,

тот же рубильник, который он включил пятого марта тысяча девятьсот сорок шестого года в спортивном зале маленького колледжа в городке, где по воскресеньям на главной улице можно пересчитать прохожих по пальцам.

Он не знал, что за семьдесят пять лет до этого дня в Париже женщина кричала на баррикаде, и её голос слышали триста человек, и этого хватило, чтобы умер тот, кого она любила. И что за пять лет до этого дня из каждого окна Берлина звучал один и тот же голос, и кирпичей не хватило, чтобы его заглушить. И что через семьдесят лет после этого дня голоса вообще перестанут нуждаться в проводах, в микрофонах, в Эрлах Хиггинсах и их потных пальцах на ручке громкости, — голоса научатся летать сами, без тела, без горла, без сигарного хрипа, — и мир, привыкший слушать, разучится слышать.

Но это — потом.

А сейчас — Дотти, Пегги, ужин. И микрофон в футляре, ещё тёплый от чужого дыхания.

Часть первая. Провод

Глава первая

Голос из-под земли. Париж, 27–28 мая 1871.

Карандаш сломался на слове «баррикада», когда я стояла, привалившись плечом к стене подворотни, и переводила дыхание, — графитовый огрызок хрустнул между пальцами. Я сунула его в рот и стиснула зубами, по детской привычке, от которой мать отучала шлепками по затылку и которая пережила и её саму, и всё остальное. Грифель скрипнул об эмаль, деревяшка разошлась вдоль волокна, на языке осталась горечь лака и кедровой стружки. Я сплюнула, вытерла губы тыльной стороной ладони и дописала фразу обломком — острым, царапавшим бумагу.

Улица Риволи, полчетвёртого пополудни, предпоследний день Парижской коммуны. Срока ей тогда никто не отмерял. Стоявшие за завалами верили, что впереди ещё месяцы, а бежавшие прочь знали — не осталось и суток.

Дальше дорога пошла под уклон, и я заторопилась по мокрым камням. Сушь держалась третью неделю, а под ногами хлюпало — жильцы таскали воду вёдрами из колонки и окатывали ставни и двери, чтобы не занялось от соседнего пожара. Тюильри догорал, Ратушу подожгли следом, дым висел над кварталами чёрными столбами, и солнце в нём тускнело и краснело, как фонарь за грязным стеклом. Жар шёл от мостовой, тени на стенах домов дрожали, фасады потели, и к запаху раскалённого известняка примешивались порох, гарь и что-то кислое, железное, от чего щипало в носу. Чихнуть на бегу я себе позволить не могла — собьёшься с шага, растянешься, а падать было некуда. С утра здесь волокли раненых, и следы никуда не делись.

Блокнот я прижимала к рёбрам левой рукой. Дешёвый, в картонном переплёте, купленный на углу Сен-Дени за два су — торговец скинул одно за помятую крышку и за четыре слипшихся от сырости страницы. Я отлепила их ногтем и сверху написала «Жанна Дюваль, „Фигаро“, май 1871» — крупно, чтобы нашедший его на моём теле знал, кому он принадлежал и зачем.

«Фигаро» взяло меня зимой, а весной Коммуна закрыла редакцию вместе с двумя десятками других газет. Наборщики разошлись кто куда, я же писала впрок, для номера, который выйдет, когда всё утихнет, — а чем это кончится, угадать не брался и самый смелый. Мне было двадцать три года, войну я видела впервые и вела репортаж для издания, которого не существовало.

* * *

У перекрёстка баррикада поднималась выше головы — булыжники, доски, перевёрнутый фиакр с торчащим вверх колесом, матрас, из которого сыпался конский волос, дверь от шкафа с бронзовой ручкой, ещё начищенной, и чугунная решётка, выдранная из мостовой с комьями песка и глины на прутьях. Строили её из того, что было — из города, из его внутренностей, из мебели, вытащенной из квартир, из жизни, вывернутой наизнанку.

За баррикадой стояли люди. Мужчины — в рабочих блузах, некоторые в национально-гвардейских кепи, косо, на ухо, — с ружьями, которые держали кто как: один — прикладом к плечу, целясь в никуда, другой — поперёк груди, обеими руками, третий — за ствол, стоймя, как палку. Женщины — без ружей, с корзинами, с бинтами, с кувшинами воды. Дети — двое, мальчишки лет десяти, сидели на корточках за фиакром и гоняли между собой пулю, свинцовую, расплюснутую, найденную на мостовой, и хихикали, и смех их пробивался сквозь грохот, как стеклянный колокольчик в грозу.

Сотни три их набиралось — считая стариков, женщин и тех двоих с пулей, — я сосчитала. Триста человек на весь голос этой улицы.

Я перелезла через нижний край — юбка зацепилась за гвоздь, ткань затрещала, я рванула раз, другой, оторвала клочок и полезла дальше, и кто-то сверху протянул руку — широкую, горячую, в мозолях — и втянул меня наверх.

— Кто? — спросил голос.

— Пресса, — ответила я, и горло после дыма и бега сипело.

— Пресса, — повторил голос, и в нём было удивление, как перед кошкой на крыше горящего дома.

Я подняла глаза.

Ему было двадцать пять, может двадцать шесть — лицо молодое, но скулы уже обтянуло и задубило цеховым жаром — литейная, кузня, завод, — и руки в мелких ожогах, белёсых, как звёзды на тёмной коже. Глаза — карие, с воспалёнными от дыма белками. Ружьё за плечом — винтовка Шаспо, длинная, с примкнутым штыком, и держал он её на манер лопаты, которую вручили час назад и ещё не показали, с какого конца копать.

— Зачем вы здесь? — спросил он.

— Записываю.

— Для кого?

— Для тех, кто не здесь.

Он посмотрел на мой блокнот — мятый, с грязным обрезом, с карандашным огрызком, торчащим из-под обложки. Потом на меня, потом на Париж за баррикадой — крыши, дым, багровое небо. Уголки его рта опустились, одна бровь пошла вверх — лицо человека, заранее знающего счёт до сантима.

— История, — сказал он. — Историю напишут победители, а мы останемся в примечаниях. Мелким шрифтом.

— Я напишу крупным.

Он не ответил. Поправил ремень винтовки на плече — кожа скрипнула, пряжка звякнула — и повернулся к баррикаде. Где-то южнее ударил залп — дробный, рассыпчатый, — стены домов отозвались, гул покатился по улицам, и мостовая отдала в подошвы мелкой дрожью.

— Как вас зовут? — крикнула я ему в спину.

— Пьер, — ответил он, не обернувшись.

* * *

Я записывала всё, что видела и что слышала, пристроив блокнот на днище перевёрнутого фиакра. Имена, которые мне называли, — настоящие ли, я не проверяла, документов здесь не спрашивают. Слова, летевшие над камнями, — лозунги, ругательства, молитвы, и в бою разница между ними стирается. Звуки, которые врезались в память, — стук заступа о булыжник, звон стекла, женский крик на верхнем этаже углового дома. Он оборвался, и тишина после него была хуже.

Ложились на бумагу и запахи. Газета их не передаёт, а война состоит из них наполовину. Порох — резко, с горечью разбитого грецкого ореха, брошенного в огонь. Палёная ткань — сладковато, удушливо. Кровь — густо, с привкусом железа, и он оседал на языке, хотя я не ела и не пила, просто дышала.

Пьер стоял у бреши, глядя в сторону бульвара, откуда шли версальцы. Рядом седой мужчина в фартуке, столяр или плотник, пришёл с рабочим топором вместо ружья — со щербатым лезвием и рукоятью, отполированной ладонями до блеска, и обух то и дело обтирал рукавом, будто собирался нести его назад в мастерскую. И женщина лет сорока, в тёмном платье, с перевязанной кистью — бинт уже побурел, — молча заряжала винтовку, которая стоила больше, чем она зарабатывала за год, и после каждого патрона поднимала глаза на угловое окно четвёртого этажа, где кто-то задёрнул занавеску изнутри.

Я подошла к Пьеру и встала так, чтобы не заслонять ему бульвар.

— Вы с завода?

— Бронзолитейный, Фобур-Сент-Антуан, — он не отрывал глаз от бульвара. — Отливали колокола, потом пушки, а после и вовсе ничего: завод закрыли, хозяин уехал в Версаль. Сидит там, пьёт бургундское и ждёт, когда нас расстреляют. Тогда вернётся и снова возьмётся за колокольную бронзу.

— А вы?

— А я стою здесь.

— Зачем?

Он повернулся ко мне. Лицо в копоти, белки воспалённые, на тыльной стороне ладони — свежий ожог, розовый, от пороховых газов.

— Потому что кто-то должен, — сказал он спокойно, без пафоса — как человек, решивший и не спорящий с собственным решением. — Если все уйдут — кто останется?

Я записала за ним дословно, потом закрыла блокнот и спрятала за пазуху, к телу, чтобы не потерять, чтобы бумага нагрелась от кожи и стала моей, частью меня, как память, как запах, как всё, что я уносила с собой из этого дня.

* * *

Версальцы пришли в пять пополудни — не строем, россыпью, из переулков, из-за углов, из дворов, перебежками, пригибаясь, в синих мундирах, с винтовками наперевес. Первые выстрелы — от них — звучали сухо, отрывисто, как треск ломающихся веток. Ответные шли из-за укрытия, и булыжник резонировал, и оттого они были громче, с гулом.

Столяр что-то орал — я не расслышала, уши забило выстрелами, рикошетами, звоном, крошащимся камнем, свистом, и всё слилось в один рёв, будто по колоколу ударили, а я оказалась под ним. Кричала вместе со всеми — слов в таком грохоте не разобрать, остаётся один голос — и всё равно писала, хотя пальцы дрожали и карандашный огрызок скользил по бумаге, оставляя линию вместо букв.

Пьер стрелял — вскидывал винтовку, целился, жмурился от отдачи, неумело, по-рабочему, как человек, который всю жизнь заливал расплавленную бронзу в формы, а не свинец в людей. Опустив ствол, он всякий раз смотрел — попал ли, — и лицо его делалось удивлённым, он заново не верил, что это происходит на самом деле.

Женщина в тёмном платье подавала ему патроны — молча, он протягивал ладонь, она вкладывала, он заряжал. Руки их сходились на секунду — его в ожогах, её в бинтах — и расходились, и через тридцать секунд всё повторялось.

Залп ударил ближе, и стена дома напротив лопнула — штукатурка осыпалась пластами, обнажив кирпичную кладку, красную, мокрую, и из окна третьего этажа вывалилась рама с уцелевшими в переплёте осколками, рухнула на мостовую, и стекло разлетелось и зазвенело, и один осколок чиркнул мне по щеке — горячий, острый. По коже потекло тёплое, я вытерла, и на тыльной стороне ладони осталась тёмная полоса, и своей она не выглядела.

— Mademoiselle! — крикнул сзади тот, что держал ружьё за ствол, как палку. — Уходите отсюда! Обходят!

С места не сдвинулся никто — ни Пьер, ни столяр, ни женщина с бинтом, а мальчишки давно забросили свою расплюснутую пулю и прижались к стене, бледные, с круглыми глазами, но не плакали — смотрели с пониманием, которого не должно быть в десять лет. Осталась и я, и рука сама писала дальше.

К сумеркам стрельба стихла — версальцы откатились за бульвар, до утра. На баррикаде считали патроны и раненых, и первых выходило меньше. Кто-то принёс хлеба, кто-то — вина в жестяном бидоне, и вино пили по кругу, из горлышка, и передавали дальше, не вытирая.

* * *

Уже затемно я пошла к редакции — с полным блокнотом, через три квартала пожаров.

Редакция «Фигаро» была на месте, с прежней вывеской в облупившейся позолоте. Дверь заколотили крест-накрест двумя досками, свежими, светлыми на тёмном дереве, и на доски кто-то наклеил афишу Коммуны о запрете враждебных изданий, а сверху уже другая рука вывела углём слово, которое я в блокнот не занесла. За стеклом витрины, в пыли, лежал последний выпшедший номер — мартовский, двухмесячной давности, жёлтый по краям, — и заголовки на нём были о вещах, которых больше не существовало.

Я стояла у забитой двери, и под мышкой лежал день — баррикада, Пьер, столяр с топором, женщина с побуревшим бинтом, мальчишки с пулей, залп, осколок, счёт патронов. Всё было записано и готово — печатать некому. Слово было при мне, тёплое от тела, и весило свои два су — цену бумаги.

За рекой ударило и покатилося. Я повернула обратно.

* * *

В одиннадцать я нашла Пьера в типографии — в полуподвале бывшей прачечной на Рю-дю-Шато-д'О, где он ночами печатал листовки на ручном станке. Я пришла записывать и осталась до утра, и про эту ночь в блокноте — четыре страницы, исписанные до полей, а в памяти — больше, чем во всей бумаге, что я извела после.

На рассвете он проводил меня до угла, дальше было нельзя — его ждали листовки, меня — баррикада. Он вытер ладони о фартук — долго, старательно — и всё равно, когда взял мою руку, на запястье остался след, чёрный, продолговатый, как строка. Я прикрыла его манжетой и не смыла.

— К вечеру приходи, — сказал он. — Напечатаю ещё пятьсот. Разнесём.

Оглянуться значило остаться, и я кивнула и пошла не оглядываясь.

Вечер пришёл, только уже не наш.

* * *

Утром двадцать восьмого баррикада была ниже, чем накануне, — ночью часть камней растащили на соседнюю, а людей стало вдвое меньше — кто ушёл к Пер-Лашез, где ещё держались, кто — насовсем. Столяр был на прежнем месте, с топором. Женщина с бинтом сидела на ящике и заряжала последнее.

Версальцы пошли с семи, и на этот раз не откатывались.

Пуля попала мне в грудь на исходе первого часа — не героически, случайно: шальная, рикошетная, глупая, как всякий свинец, летящий мимо цели. Выстрела я не услышала — в общем рёве одиночному хлопку места не было, — просто толчок, кулаком под ключицу, и дыхание выбило, и ноги подогнулись, и я упала лицом вниз, блокнот под грудью, карандаш покотился прочь. Камень подо мной был холодный, мокрый, и пахло от него всем, во что вымочили эту улицу, и я лежала и думала — вот и всё, двадцать три года, один репортаж, и тот не выйдет.

Небо надо мной было серым от дыма, после чёрным, а дальше не было ничего.

* * *

Очнулась я на свету — не ярком, не белом, как описывают в книгах, а жёлтом, тёплом, масляном — керосиновая лампа под закопчённым колпаком. Огонёк подрагивал, тени на стенах качались, пахло горелым фитилём, полыньёю и ещё чем-то — дальней дорогой, пылью, одеждой, в которой отшагали не один десяток льё по жаре и которую не меняли.

Я лежала на чём-то жёстком — стол, скамья, пол? — и потолок надо мной был низкий, сводчатый, каменный, с разводами сырости, похожими на карту страны, которой не существует.

— Интересно, — сказал голос. — Очень интересно.

Я повернула голову — больно, шея не слушалась, а грудь и вовсе отзывалась чужой тяжестью. Место, куда вошла пуля, не болело — глухо грело изнутри, как печь за стеной. Тело было занято важным и просило не мешать.

Старик сидел на табурете рядом со мной — маленький, сухой, в одежде, которую я не могла определить: не французской, не военной, не рабочей, а какой-то своей — человек оделся в тёмное и счёл, что этого достаточно. Лицо — без возраста, и старое и нестарое одновременно, как вещи, пролежавшие в сундуке столетиями, — вне износа, вне времени. Глаза — светлые, почти жёлтые, и от них мне стало не по себе: в них шёл неспешный, сытый выбор — играть или есть.

Полынью от него несло, как от августовского поля в самый жар, когда стебли сохнут на корню, — густо, плотно, до осязаемости. Запах шёл из кожи, из дыхания, будто старика скроили из этой травы.

— Я умерла? — спросила я, и голос был чужим, хриплым, и горло скрежетнуло, как несмазанная петля.

— Почти, — он склонил голову набок, разглядывая меня, как часовщик — механизм, попавший к нему на починку. — Скажи, девочка, ты хочешь жить?

— Да.

— Долго?

Слова я разобрала, а зачем он их произносит — здесь, в подвале, в пылающем городе, над женщиной с дыркой в груди, — понять не могла.

— Сколько получится, — ответила я.

Он улыбнулся — одним уголком рта, правым, левый остался на месте, — и вышло странно, будто на полную не хватало сил, а повода.

— Получится долго, — сказал он. — Очень долго. Это одновременно подарок и проблема. Поймёшь со временем.

Я хотела спросить: что значит «долго»? кто вы? почему полынь? — но язык не ворочался, и грудь горела, и свет лампы дрожал, и по сводам плыло тёмное, как облака в быстром небе. Я провалилась обратно во тьму, и на этот раз она была тёплой, обжитой, и в ней что-то работало — внутри меня, под кожей, в том месте, куда вошла пуля, — тихо, сосредоточенно, как ткацкий станок, когда нить тянется, ложится ряд за рядом и закрывает дыру в ткани.

* * *

Проснулась я одна. Табурет стоял у стены, лампа — на полу, погасшая, с остатком керосина на донце. На каменной ступеньке у выхода — кружка с водой, ломоть хлеба, серого, чёрствого, и записка, придавленная камнем. Почерк — мелкий, ровный, уверенный, справа налево, буквы незнакомые. Внизу — приписка, уже слева направо, уже по-французски:

«Долгая история. Потом расскажу.»

Я села — грудь не болела, — расстегнула блузу: ткань в бурых пятнах, жёсткая от засохшего. Кожа под ней была чистая. Розовая, гладкая, чуть горячая на ощупь, как после ожога, который уже зажил. Ни раны, ни рубца, ни входного отверстия — только розовое пятно размером с монету.

Я потрогала — обычная кожа, под ней рёбра, целые, и лёгкие дышали, и сердце стучало, и всё это — целое, живое, работающее — не совмещалось с памятью: толчок, падение, камни, темнота.

Пуля попала мне в грудь. Я это знала — вот здесь, под ключицей, левее.

А теперь — розовое пятно, ломоть хлеба на ступеньке и записка, начатая на языке, которого я не знала, и законченная на моём.

Я выпила воду, съела хлеб и спрятала записку в карман — к блокноту, который нашла на полу у стены, грязный, с вмятиной от моего тела, с бурым отпечатком на переплёте. Раскрыла — последняя запись обрывалась на середине слова: «бар—», начало «баррикады», не дописанное. Сперва сломался карандаш, потом сломалось всё остальное.

Я вышла из подвала.

* * *

Париж за порогом молчал — не тишиной живого города, другой, оглохшей, как комната, в которой только что кричали. Улицы были пусты. На мостовой — гильзы, битое стекло, куски штукатурки, обрывок красного знамени, затоптанный в грязь. У стены напротив — ботинок, один, мужской, без пары, со сбитым каблуком, и шнурок из него свисал в лужу и покачивался от ветра, и мне показалось, что он ещё помнит ногу, которая в нём была.

Я шла к своей баррикаде, где накануне держались Пьер, столяр с топором, женщина с бинтом и мальчишки с расплющенной пулей. Вчера? Или неделю назад? Сколько я провела в подвале, я не знала.

Разобрали её начисто: булыжники лежали грудой, фиакр поставили на колёса и оттащили к обочине, матрас валялся в канаве, из него торчал конский волос — рыжий, курчавый, мокрый от росы. Дверцу шкафа с бронзовой ручкой кто-то унёс — может, вернул владельцу, а может, пустил на дрова.

Пьера я нашла у стены, в переулке за перекрёстком.

По пути туда, в водостоке, лежала листовка из его пятисот — СВОБОДА жирным шрифтом с засечками, «на баррикады» курсивом, — и по курсиву прошёлся каблук. Бумага размокла, буквы поплыли, и призыв читался теперь только с колен.

Версальцы расстреливали пленных — брали на баррикадах каждого, у кого на руках была пороховая копоть или мозоли от ружейного ремня. Ставили к стенам, во дворах, в переулках, без суда, без имён, без списков — и здесь тела лежали рядом, как дрова в поленнице, и лица были разные, а поза на всех одна, выбранная смертью.

Пьер лежал третьим от угла. Лицо — спокойное, и это было хуже, чем если бы испуганное: у мертвеца такое означает, что человек договорил внутренний разговор с собой и согласился с концом. К чему он пришёл в последние минуты, я не узнаю никогда. Мёртвые не рассказывают. Руки сложены на груди — сам ли сложил в последнюю секунду, или кто-то после, или просто так упал. Пальцы были чёрные до второго сустава, и краска эта не отмывалась при жизни и не отмоется теперь. Винтовка лежала рядом, Шаспо, с примкнутым штыком, и на штыке — ни пятнышка. До штыковой он так и не дошёл.

Я села рядом с ним — брусчатка выстыла за ночь под росой, — положила блокнот на колени и достала карандашный обломок из кармана.

И написала о нём — крупным шрифтом, как обещала.

Имя. Возраст. Бронзолитейный завод на Фобур-Сент-Антуан. Колокола, пушки, закрытые ворота. Стоял на баррикаде, потому что кто-то должен. Историю напишут победители. Мелким шрифтом.

Крупным.

Я дописала, закрыла блокнот, встала. Колени затекли — сколько я просидела? — и ноги послушались не сразу, и я смотрела на Пьера, и на стену, и на тела вдоль неё, и думала: мне положено лежать здесь, рядом, третьей, четвёртой, десятой от угла, — а я стою, и грудь не болит, и розовое пятно под блузой зудит, и я живая, а он мёртвый, и это несправедливо до того, что не на кого злиться — ни на Бога, ни на версальцев, ни на старика с полынным запахом, — а без злости оставалась пустота, и носить её я ещё не умела.

* * *

Репортаж вышел в «Фигаро» через неделю — когда с дверей редакции сняли доски и наборщики вернулись к кассам. Редактор вычеркнул два абзаца и поменял заголовок. Пьер остался — с именем, с возрастом, с заводом. Крупным шрифтом, как я написала.

Газету купили двенадцать тысяч человек.

На баррикаде мой голос слышали триста — стоявшие рядом, на расстоянии крика. Бумага дошла до двенадцати тысяч через неделю, когда никого из моих героев нельзя было ни спасти, ни предупредить, ни даже похоронить по-людски, и слова годились только на память.

* * *

Старик не вернулся — ни назавтра, ни к концу месяца. Записка осталась в кармане, и я перечитывала её по вечерам, сидя в мансарде на Монмартре, куда перебралась из прежней комнаты, когда хозяйка начала задавать вопросы: откуда кровь на блузе, и где вы были три дня, и почему у вас такой вид, будто вас расстреляли и забыли закопать.

«Долгая история. Потом расскажу.»

Потом.

Глава вторая

Париж, 1872.

На Северном вокзале пахло углём, мокрым железом и булочками.

Булочками — от лотка у центрального входа, между второй и третьей колонной. Старуха в чёрном платке и перчатках без пальцев торговала бриошами с утра и к полудню засыпала стоя, подпирая подбородок кулаком, и товар её остывал, и корка становилась ржавой, как рельсы, и покупатели обходили прилавок стороной, а здесь у каждого своё дело, и чужой сон — не дело, и старуху не будил никто.

Углём — от паровозов, которые стояли на путях, чёрные, пылящие, с белыми хвостами из-под котлов, похожие на огромных уставших лошадей, которых поставили на рельсы и забыли распрячь. Пар поднимался к стеклянному своду — высокому, ажурному, с металлическими рёбрами, — и расплывался там, и свод казался облачным, и сквозь эту муть проступал серый парижский свет, ложился на перроны косыми полосами, и в них клубилась угольная пыль, оседая на шляпах, на плечах, на чемоданах мелким сплошным слоем, одинаково на замше банкира и на сукне рабочего.

Мокрым железом — от рельсов, от решёток, от балок перекрытий. Всё здесь было из железа: столбы, перила, фонари, скамьи, кронштейны — новый мир, гулкий и блестящий, построенный Хитторфом восемь лет назад, и каждый шаг отдавался в нём эхом, и оно бежало по металлу, как ток по проводу, от одного конца зала к другому, и переведи его в буквы — получила бы телеграмма.

Что такое телеграмма, я знала тогда понаслышке — как знают про страны, в которых не бывали.

* * *

Год перед тем я прожила в газете и в мансарде на Монмартре, которая стоила дешевле прежней комнаты — десять франков в месяц, одно окно, скос крыши, из щели в раме дуло, и по утрам на подоконнике лежал голубиный помёт, серый, с белыми вкраплениями, и голуби ворковали за стеклом и смотрели на меня круглыми равнодушными глазами.

Работала я в две смены: утром — газета, корректуры, ошибки, за которые Дюпон получал штрафы, а я не получала — я не ошибалась. Днём — наборная, где свинец холодила пальцы и краска въедалась под ногти, и к вечеру руки были чёрными и не отмывались ни мылом, ни щёткой. Люди вокруг — наборщики, корректоры, курьеры — месяц за месяцем покрывались морщинами, как дерево корой. Я — нет.

Заметила я через полгода, склонившись над порезом от бумажного края, — он затянулся за минуту, не за день и не за два. Я смотрела, как кожа сходится, как кровь останавливается, как розовая полоска бледнеет и исчезает, — и палец был чистый, гладкий, без следа.

Через год я посмотрела в зеркало и увидела лицо годичной давности — ни одной новой морщинки, ни одного пятнышка, ни лёгкой усталости вокруг глаз, которая появляется у женщин к двадцати пяти и остаётся навсегда. Двадцать три — и год спустя столько же, а время прошло мимо, задело плечом — извините — и пошло дальше, к другим.

Коллеги старели. Наборщик Дюпон, сидевший напротив и кашлявший в платок каждые пять минут, поседел за зиму и начал горбиться. Корректорша Мари — красивая, с каштановыми волосами, с родинкой на щеке — родила, расплнела, и родинка утонула в новой складке на подбородке. Курьер Жюль, мальчишка, пришедший в газету одновременно со мной, вытянулся, возмужал, отрастил усы, и теперь, когда мы стояли рядом, он глядел на меня сверху вниз, а раньше — в упор.

Я оставалась прежней: рост, вес, кожа, детский шрам на левом колене от падения с забора, овал лица — и глаза в зеркале, в которых я неделями искала перемену и не находила.

Весной, на исходе года в газете, я уволилась — после вопроса Дюпона:

— Жанна, тебе сколько лет?

— Двадцать четыре.

— Врёшь, — он посмотрел на меня прищуром наборщика, заподозрившего в оттиске сбитую литеру. — Ты выглядишь на двадцать три. Так же, как в день, когда пришла. Что за крем?

Я засмеялась, а он — нет.

Через несколько дней я переехала — новый район, чужая фамилия в книге жильцов, работа прежняя: корректура, наборная, запах свинца и типографской краски.

* * *

К Северному вокзалу меня привёл листок с тумбы, а к листку — год с лишним увольнений.

Летом я была переписчицей в адвокатской конторе на Рю-дю-Фобур-Монмартр — считалась, когда секретарь заметил, что я ни разу не болела и ни разу не опоздала, и сказал это не с похвалой, а с прикидкой, будто складывал в уме два числа. Осенью — продавщицей в книжной лавке у Пантеона, и хозяин, месье Дюбуа, человек добрый и близорукий, однажды протёр очки, пригляделся и произнёс: «Мадемуазель, я помню вас с первого дня, и с тех пор в вас ничего не сдвинулось. Это комплимент, но от него мне не по себе». Через неделю я положила ключ от лавки на прилавок.

Переезжала я в тот год трижды: Батиньоль, потом Бельвиль, потом каморка за Восточным вокзалом. Новый адрес, новая мансарда — и те же серые стены с потёками и пятнами плесени в углу. Новые соседи — и прежние вопросы, которые рано или поздно начинаются: «Сколько вам лет, мадемуазель?» — «Двадцать четыре.» — «Странно, вы и в прошлом году говорили двадцать четыре.» — «Ошибаетесь, мадам, в прошлом году меня здесь не было.»

В прошлом году меня тут не было, а через год не будет и здесь. Словом «круг» я это ещё не называла — где он замыкается, я пока не видела.

Работу искала в объявлениях — газетных, расклеенных на тумбах, набранных шрифтом, который я узнавала по запаху: свинец и сажа, как на пальцах Пьера. Предлагали: прачечная на Рю-Лепик требует гладильщицу, ателье на Рю-де-ла-Пэ ищет швею, почтовое отделение на площади Клиши набирает сортировщиц. Гладить я не умела, шила плохо, а сортировать взялась бы, только смысла в этом не видела.

На тумбе у самого вокзала, между призывом вернуть сбежавшего пуделя и рекламой средства от кашля, висел листок: «Телеграфное бюро Северного вокзала ищет операторов для работы с аппаратом Морзе. Требования: грамотность, усидчивость, острый слух. Жалованье — 75 франков в месяц. Обращаться в бюро, второй этаж, левое крыло.»

Семьдесят пять франков — вдвое больше, чем в книжной лавке, втрое — чем у адвоката. Грамотность — есть. Усидчивости во мне оказалось куда больше, чем я думала. Про острый слух не знаю, а только после Коммуны звуки стали резче, как будто пуля, пройдя насквозь, прочистила что-то внутри, — шаги за стеной, дыхание соседки, стук капель по жестяному тазу, скрип половицы под ногой кошки.

Я оторвала уголок листка — зачем? привычка? доказательство? — и пошла на второй этаж.

* * *

Телеграфное бюро занимало комнату в левом крыле, над залом ожидания, и было отделено от вокзального гула одной деревянной дверью — тонкой, разошедшейся, со щелью внизу, через которую тянуло сквозняком и запахом угля. За порогом начинался другой мир.

Тишина — не полная, рабочая, плотная, собранная из мелких звуков: шорох бумаги, скрип стула, чё-то покашливание, — и сквозь всё это — стук.

Не такой, как на баррикаде, — частый, ровный, деловитый. Точка-тире. Точка-точка-тире. Тире-тире-точка. Ритм, в котором не было ни паники, ни ярости, ни отчаяния — слова здесь обращались в удары по ключу, и ток шёл из Парижа в Лилль, в Кале, в Брюссель, а на другом конце кто-то слушал и записывал, и там оно снова делалось речью и делом: купить, продать, приехать, умер, родился, люблю, жду.

Я стояла у порога и слушала, и комната открывалась передо мной длинной, узкой, с окнами на перрон. Свет падал слева — жёлтый, газовый, от рожков на стене, смешанный с дневным из окон, и в этом двойном свете всё выглядело янтарным, подводным, — помещение затонуло и продолжало работать под водой. Вдоль стен тянулись столы с аппаратами. Латунные, деревянные, с рычажками и катушками, с бумажными лентами, которые ползли из щелей и свисали на пол тонкими белыми языками. За ними сидели люди — семеро, все мужчины, в тёмных жилетах поверх белых рубашек, рукава засучены, и пальцы правых рук лежали на ключах — медных, плоских, с округлыми головками, — и двигались быстро, точно, как у пианиста, только музыку заменял код, а зал — провод. Восьмой стол, крайний у окна, стоял пустым.

За конторкой у двери сидел начальник бюро — низкий, лысый, в пенсне, с чернильным пятном на манжете, — и говорил с кем-то, кого я не видела, и голос его был усталый и монотонный, как стук ключа: точка, тире, пауза, точка.

— Месье, — сказала я.

Он поднял голову, и пенсне сползло на кончик носа. Глаза — серые, блёклые, как газетная бумага, на которой слишком много раз напечатали, и буквы проступили с обратной стороны.

— Объявление, — я положила на конторку оторванный уголок. — Оператор аппарата Морзе.

Он посмотрел на уголок, потом на меня, потом опять на клочок бумаги.

— Мадемуазель, — сказал он, — работа с аппаратом требует подготовки. Вы знакомы с кодом?

— Нет.

— Умеете читать ленту?

— Нет.

— Владеете ключом?

— Нет.

Повисла пауза, и в ней стал слышен стук за моей спиной — семь ключей одновременно, семь разных ритмов, семь телеграмм, летящих по семи проводам в семь городов. За третьим столом кто-то хмыкнул — коротко, в усы, не отрываясь от ленты.

— Тогда зачем вы здесь, мадемуазель?

Зачем — ответа у меня не было, а был только стук, услышанный через дверь. Он напоминал что-то, чего я не сумела назвать, и уйти, не назвав, не получалось. Точка-тире. Крик-пауза-крик. Баррикада. Голос, летящий через расстояние, через стены, через провод, обгоняющий и лошадь, и гонца, и человеческий крик, который слышат триста человек — пока не смолкнет горло. Пьер умер, и вместе с ним оборвалось всё, что он успел сказать.

А за тонкой дверью бюро звук не держался на одном горле. Палец нажимал ключ в Париже — и в Лилле, за двести тридцать километров, аппарат отстукивал ту же точку, и кто-то слышал её и записывал. Руку пуля остановить могла, а ток в проводе шёл дальше, и сказанное не умирало на мостовой. Пуля летит в тело, слово — по меди, и медь тоньше тела, и быстрее пули, и живёт дольше.

— Я быстро учусь, — сказала я.

Начальник снял пенсне, протёр его платком, надел обратно. Потом взял карандаш и, не сводя с меня глаз, отстукал тупым концом по конторке: три коротких, пауза, короткий-длинный-короткий, пауза, два длинных. Стук за моей спиной на секунду стал реже — слушали.

— Повторите.

Я положила ладонь на конторку и повторила — костяшкой пальца, в его темпе: три коротких, пауза, короткий-длинный-короткий, пауза, два длинных. Дерево под рукой было тёплое, засаленное до блеска, и звук выходил глуше, чем у карандаша, но рисунок был тот же — я его не забывала, он сам лёг в руку, как ложится мотив, услышанный один раз.

За третьим столом хмыкнули второй раз — иначе.

— Слух есть, — сказал начальник. — Остальное — мозоли. Месяц испытательного, тридцать франков, восьмой стол. Ошибка стоит франк, мадемуазель, — это у нас учат в первый день.

* * *

Начальника звали месье Леру — Огюст Леру, сорок семь лет, бывший военный телеграфист, прослуживший при осаде Парижа в семидесятом и при Коммуне в семьдесят первом, — и о том годе он говорил, как о погоде: было, прошло, сегодня — ясно. Хмыкавший за третьим столом оказался Гастоном — коротышкой с усами и табачным кашлем, двадцать лет за ключом, и в первый мой день он сказал, ни к кому не обращаясь, глядя в свою ленту:

— Женщина за ключом. Через месяц провод заплачет.

Никто не засмеялся, и он не ждал смеха. Он сказал это, как заносят в журнал показание прибора, — снял и записал.

— Код выучите за неделю, — сказал мне Леру. — Не выучите — значит, не ваше.

Выучила я за четыре дня, и ум тут был ни при чём — помог слух. Морзе — это ритм, а ритм я знала до кода, до провода, до Северного вокзала: набор, когда литеры падают в форму одна за другой и станок стучит, как сердце, и крик на баррикаде — короткий-длинный-короткий, и паузы между залпами, и капли по жестяному тазу в мансарде, и каблуки консьержки по лестнице. Мир, оказывается, весь состоит из точек и тире, и азбука эта — не изобретение, а перевод.

На пятый день месье Леру молча кивнул мне на восьмой стол, и я села за аппарат.

Латунный ключ лежал передо мной — плоский, на пружине, с головкой, отполированной пальцами предыдущего оператора до зеркального блеска. Я положила указательный палец на головку — холодную, гладкую, — и нажала.

Раздался щелчок — контакт замкнулся, и ток побежал по проводу. Я не видела его и не слышала, но знала: бежит. Из моего пальца, через латунь, через медь, через железо, через два столба за окном, через крышу вокзала, через улицу, через город — в Лилль, за двести тридцать километров, и кто-то там, на другом конце, поймает мою первую точку — слово, сказанное не голосом, не карандашом, не типографской краской, а током.

Потом я нажала ещё раз и подержала — длинный контакт, тире, палец на латуни, и пружина дрожала под пальцем, как дрожит горло, когда держишь крик. Точка-тире — буква «А».

Слева от меня сидел Фернан — худой, рыжий, с веснушками на переносице и привычкой считать чужие телеграммы вслух, вполголоса, как ступени в темноте, — и, поймав мой взгляд, он кивнул. Справа стола не было — девятый поставят через год, когда вырастет трафик, и за него сядет женщина, а за ней придут ещё, и ещё, и к девяностым в бюро будут два зала, мужской и женский, и в женском тишина будет другой, мягче, без кашля и табачного духа, но стук останется тем же самым, и код не изменится, и ток не отличает мужских пальцев от женских.

Первую настоящую телеграмму я отстучала к полудню. Адресат — Лилль, контора Северной железнодорожной компании. Текст: «Подтвердите получение груза номер 1247. Ответ оплачен.» Четырнадцать слов, двести шесть ударов, сорок секунд.

Четырнадцать слов долетели из Парижа в Лилль за время, которого мне не хватило бы, чтобы дойти от стола до двери.

Я сидела и смотрела на аппарат — на катушку, на ленту, на латунный ключ, ещё тёплый от пальца, — и думала о Пьере. Он кричал на баррикаде во весь голос, и дальше соседних

домов его не слышал никто. Я отстучала четырнадцать слов, не повысив голоса и не встав со стула. Триста человек — и тишина. Двести тридцать километров — и ответ.

Слово больше не было привязано к горлу — оно жило в проводе, а провод не устаёт, как рука, не хрипнет, как горло, и не умирает на мостовой, как человек.

Провод работал.

* * *

Через месяц я стучала быстрее всех в бюро.

Я не хвастаюсь, а веду счёт, как вела его здесь всему: Фернан — восемнадцать слов в минуту. Гастон — двадцать два. Месье Леру, когда садился за ключ, — двадцать пять, и это считалось рекордом, и он гордился, поправлял пенсне и говорил: «Двадцать пять — потолок. Быстрее — ошибки, а ошибка в телеграмме дороже, чем в газете: газету можно выбросить, телеграмму — нет».

Я стучала тридцать, и дело было не в пальцах — я не уставала. Рука не немела, запястье не ныло, спина не затекала. Я могла сидеть за ключом двенадцать часов, и на двенадцатом счёт держался прежний, без единого сбоя.

Первым заметил Фернан — он сидел рядом, тёр покрасневшие пальцы, на подушечках которых росли мозоли, жёлтые, плотные, как у гитариста, — и смотрел, как я стучу, и по привычке считал мои удары вполголоса.

На этом счёте он и попался. В четверг, под вечер, он вёл собственную передачу в Амьен, а слушал при этом мой ключ — я различала, как его шёпот считает мои удары, — и в его строке выскочила лишняя точка. Одна. Из «прибыл» вышло другое слово, с того конца переспросили, и Леру поднялся из-за конторки со своей книжечкой в клеёноччатой обложке.

— Фернан. Франк.

Спорить Фернан не стал — кивнул и вернулся к ключу. За третьим столом Гастон выпрямился и посмотрел на меня — не на Фернана, на меня, — долгим взглядом человека, который в первый день снял показание прибора и теперь его сверял.

Назавтра я пришла раньше всех, спустилась к лотку у входа и купила у старухи четыре бриоши — тёплые ещё, в промасленной бумаге. Положила Фернану на стол, между катушкой и стаканом с карандашами, и села за свой ключ. Он пришёл, посмотрел на свёрток, потом на меня. Я стучала — Лилль, двадцать шесть слов, лента ползла. Он развернул бумагу, съел одну бриошь, вторую отложил и до обеда считал вслух только собственные удары.

С Гастоном лёд таял дольше. Он не заговаривал со мной месяц — принимал мои ленты, передавал свои, кашлял в сторону, — а в конце месяца, когда Леру при всех сказал: «Мадемуазель Дюваль — линия Париж-Кале, семьдесят пять франков, без испытательного», Гастон вынул изо рта незажжённую папиросу и произнёс, глядя в аппарат:

— Провод не заплакал. Надо же.

И это была самая длинная его фраза с моего прихода, и другой похвалы в бюро не водилось.

Линия Париж-Кале была здесь главной — по ней шли телеграммы в Лондон через подводный кабель, проложенный в шестьдесят первом. От Парижа до Кале — минута, оттуда за пролив — ещё три. Через Ла-Манш, через воду, через дно, где рыбы и водоросли, и жила лежит среди них, обмотанная гуттаперчей, и ток идёт по нему, и никто внизу не слышит, а на Стрэнде или на Флит-стрит человек читает депешу и не знает, что четверть часа назад её не существовало, а был только мой палец на латунной головке.

Крик на баррикаде долетал до конца улицы — тридцать метров.

Тридцать метров — и мёртв. Четыре минуты — и Лондон.

А пока — зима, латунный ключ, тёплый от пальца, и лента, ползущая из аппарата, и точки-тире, и запах угля с перрона, и бриоши у входа, и старуха в чёрном платке, которая заснула над лотком и не проснётся до вечера, и никто не разбудит.

И Пьер — мёртвый, с типографской краской на пальцах, которая не отмылась.
И я — живая, с латунию под пальцами, которая ещё не остыла.

Голос: Телеграфистка с Северного вокзала

Записано на обороте телеграфного бланка формы 12-bis. Почерк женский, мелкий, без помарок, с характерным парижским написанием буквы «е» — с длинным хвостиком вверх. Бланк датирован ноябрём 1874 года. Чернила — фиолетовые, канцелярские.

Я пишу это на обороте бланка, потому что бумаги у меня нет, а бланков — навалом: месье Леру заказал три тысячи штук, и половину напечатали с опечаткой в слове «адресат» — «адрисат», — и теперь бракованные лежат стопкой у меня под столом, и я подкладываю их под ножку стула, чтобы не качался, и пишу на них, когда нет трафика, а трафика нет по воскресеньям с двух до четырёх, потому что приличные люди обедают, а неприличные спят, и только мы, телеграфистки, сидим на втором этаже и слушаем тишину в проводе.

Молчит он по-разному, и я эти молчания различаю не хуже, чем мадам Тибо шаги на лестнице. Бывает тихо, совсем тихо, будто провода и нет вовсе. Бывает с гудением, низким, утробным, и Фернан говорит, что это наводка от силового кабеля, а по-моему, провод дышит, и спорить я с Фернаном не стану, потому что спорить с Фернаном — что с кофейником. А иногда с потрескиванием, и тогда Гастон ругается и бьёт по аппарату ладонью, как бьют по боку упрямого осла, и тот обижается и замолкает, а после начинает снова, и Гастон говорит: «Ну вот, опять», — и прикладывает ладонью ещё раз. Разговор у них длится который год, и ни один не сдался.

Я — Мари-Луиза Перрен, двадцать девять лет, незамужняя, телеграфистка второго разряда, жалованье шестьдесят франков. Живу на Рю-дю-Фобур-Сен-Дени, на четвёртом этаже без лифта, с кошкой, которая не моя, но живёт у меня, потому что соседка снизу, мадам Тибо, её выгнала за то, что кошка съела голубя на подоконнике. Кошку зовут Бланш, хотя она рыжая: мадам Тибо назвала её в честь белой кошки из книжки, а книжки этой она не читала и осталась рыжей, и мне это нравится — пусть хоть у неё всё не по бумагам.

Через мои руки за день проходит сотни две чужих дел, и я знаю про этот город больше кюре на исповеди, только рассказать не могу — за разглашение увольняют без выходного пособия. Осенью я отстучала в Руан четыре слова: «Мать скончалась ночью приезжай». Отправила и пошла обедать, и ела я суп с луком, а в Руане в это время кто-то читал ленту и сидел на поезде. Вечером пришёл ответ, тоже четыре слова: «Выехал буду утром Поль». Между этими двумя депешами прошло семь часов, и внутри них поместилась целая семья, которой я никогда не увижу. Мадемуазель Дюваль, когда я ей рассказала, кивнула и сказала: «Записывайте такие». Я не записала — а надо было.

Пишу я, впрочем, не про себя, а про женщину за восьмым столом.

В бюро я пришла год назад, осенью семьдесят третьего, за девятый стол — первый женский, его поставили впритык к восьмому, справа, когда вырос трафик. За восьмым сидела мадемуазель Дюваль — она работала тут уже год, с осени семьдесят второго, и первое, что я заметила, были руки. У всех телеграфистов руки одинаковые: мозоли на подушечках указательного и среднего — от ключа, жёлтые пятна на большом — от латуни, и ногти коротко стриженные, потому что длинный ноготь на ключе — это лишний щелчок, а лишний щелчок — лишняя точка, а лишняя точка в коде — другая буква, а другая буква — франк штрафа, а франк — это четыре бриоши у старухи внизу, а четыре бриоши — это ужин.

У мадемуазель Дюваль мозолей не было. Ни в первый мой день, ни в десятый, ни в сотый. Я сидела бок о бок с ней и видела: она стучит тридцать слов в минуту, двенадцать часов, и пальцы у неё вечером как утром — розовые, гладкие, без единого следа. У Фернана после смены руки красные, распухшие, он замачивает их в тазу с тёплой водой и бормочет ругательства. У Гастона мизинец левой не разгибается с семьдесят третьего года — зажало между

рычагом и катушкой. У месье Леру на запястье шишка, твёрдая, как косточка сливы, от многолетнего нажима на ключ.

У мадемуазель Дюваль — ничего.

Следила я не со зла и не из любопытства — из женского внимания, которое не выбираешь: оно приходит само, когда рядом кто-то, кто не сходится с собственной ведомостью, как моя кошка со своим именем. Смотрела и запоминала.

За год с лишним у меня на глазах она не болела ни разу, а я болела четырежды: бронхит в январе (три недели дома, и кошка спала у меня на груди, и от неё было теплее, чем от горчичника), простуда в марте, зубная боль в августе (вырвали коренной, щека распухла, и начальник сказал: «Перрен, вы похожи на бурундука», — и Фернан засмеялся, а я не засмеялась, потому что бурундуков во Франции нет и я не знала, обижаться или нет), и порезанный палец в октябре — о край жестяной коробки с бланками.

А у неё — ни кашля, ни насморка, ни головной боли. Она приходила в восемь, садилась, клала пальцы на ключ и стучала до восьми вечера, и уходила такой же, какой пришла, — не уставшей, не бледной, не помятой, — и я смотрела ей вслед и думала: может, она просто крепкая? Бывают такие женщины — из деревни, из семьи, где все здоровые. Моя тётка в Нормандии дожила до семидесяти и ни разу не чихнула, правда, она пила кальвадос вместо чая и говорила, что кальвадос убивает всех микробов, и микробы, видимо, верили.

Только деревенской её никак не назовёшь. Парижанка, по выговору — чистый Левый берег, образованная, читает газеты на перерыве, и пальцы у неё пахнут не землёй — типографской краской, старой, вьёвшейся, которая не вымывается, и я однажды спросила: «Мадемуазель, вы работали в типографии?» — и она посмотрела на меня так, что я поняла: не спрашивай. Не запрет — просьба. Глазами.

И самое главное, ради чего я взялась за этот бланк.

Она не стареет, а я — старею: мне было двадцать восемь, когда я села за девятый стол, и двадцать девять сейчас, и за этот год у меня появились морщинки у глаз, и седой волос над левым ухом, и колени хрустят по утрам на четвёртом этаже, — приметы маленькие, чужой не заметит, но я-то каждое утро стою перед зеркалом и веду учёт. Борода у Фернана погустела, залысина поднялась выше, Гастон обзавёлся вторым подбородком, а месье Леру вставил серебряный зуб — старый выпал у него в чашку с кофе, кофе расплескался, зуб звякнул о фаянс, и Фернан сказал: «О, месье Леру отправил телеграмму», — и смеялись все, кроме месье Леру.

А мадемуазель Дюваль осталась прежней — лицо, лоб, серые глаза без единой морщинки. Двадцать три года, как она сказала при знакомстве, — и этой осенью, год спустя, снова двадцать три. Считаю я бросила, а смотреть нет.

Вчера, в воскресенье, мы сидели вдвоём — она и я, трафика нет, провод молчит, за окном дождь, и Северный вокзал внизу гудит, как пустая раковина, и булочница заснула над бриошами, и кто-то на перроне свистел — не мелодию, а просто так, длинный бессмысленный свист, от скуки или от счастья, а в такую погоду между ними нет разницы.

Мадемуазель Дюваль сидела у окна и смотрела на перрон. Ключ остыл под её пальцами, лента замерла. Она разглядывала людей внизу — носильщиков, женщину с зонтом, мальчика, бегущего по лужам, — и на лице её было выражение, которому я долго подбирала слово и нашла: давнее. Взгляд на вещи, виденные столько раз, что удивление ушло, а внимание осталось, — моя бабушка так же глядела на Сену, не как на реку, а как на знакомую, которая давно не менялась и не изменится.

— Мадемуазель Дюваль, — сказала я.

Она повернулась, и глаза у неё были серые, ясные — ни одной красной жилки, ни единого признака двенадцатичасовой смены.

— Сколько вам лет?

Отвечать она не стала — улыбнулась коротко, одними глазами, и тут же убрала улыбку, как убирают в ящик бланк не по форме. Потом встала, подошла к моему столу, положила руку мне на плечо — тёплую, сухую, крепкую — и сказала:

— Мари-Луиза, вы хорошая. Не спрашивайте.

И вышла — на перрон, под дождь, без зонта, и я смотрела из окна, как она идёт — прямая, быстрая, с блокнотом под мышкой, — и вода текла по её волосам, и по плечам, и по блокноту, и она не ускорила шаг, и не поёжилась, и не подняла воротник.

А ещё она пишет, и я это знаю, потому что видела: в перерывах, когда другие курят или едят бриоши, она достаёт блокнот и водит карандашом — грифельным, мягким, купленным у старика на углу. Что там — не знаю. Не заглядывала. Не моё.

Но однажды, когда её позвали к месье Леру и блокнот остался на столе, раскрытый, и ветер из окна перевернул страницу, — я увидела одну строку. Одну.

«Крупным шрифтом.»

Больше на странице не было ничего — ни имени, ни даты, ни объяснения. Крупным шрифтом — и всё. И почерк тут был другим, не таким, как на остальных записях, — крупнее, тяжелее, с нажимом, от которого грифель продавил бумагу, и на обороте остался слепой след, как шрам.

Я закрыла блокнот и положила на место, и не сказала об этой строке никому. Никогда.

Через три дня мадемуазель Дюваль уволилась. Пришла утром, отработала смену, сдала ключ месье Леру, попрощалась с Фернаном и Гастоном, подошла ко мне и сказала:

— До свидания, Мари-Луиза. Берегите Бланш.

— Откуда вы знаете про Бланш?

— Рыжая шерсть на рукаве. Каждый день, левое предплечье. Кошка спит у вас на руках, когда вы читаете. Правильно?

Правильно.

В дверях она обернулась — на секунду, не дольше — и посмотрела на бюро: на столы, на аппараты, на ленты, свисающие на пол, на Фернана с мозолями, на Гастона с негнущимся мизинцем, на месье Леру с серебряным зубом, на меня с рыжей шерстью на рукаве, — и взгляд её был прощальным, но не грустным, а каким-то другим: как у человека, который фотографирует комнату перед переездом, чтобы запомнить, как было, потому что «как было» больше не будет.

И ушла.

Кошка Бланш прожила ещё шесть лет и умерла во сне, на моих руках, свернувшись клубком, рыжая, тёплая, в январе восемьдесят первого. Фернан ушёл на пенсию в девяностом, с красными руками и хроническим бронхитом. Гастон умер за аппаратом — инсульт, ленту пришлось вырезать из-под его локтя. Месье Леру дослужился до инспектора и получил орден. Я вышла замуж в семьдесят девятом, за почтового служащего, родила двоих, постарела, поседела, и колени хрустят уже не только по утрам.

А мадемуазель Дюваль, может быть, где-то стучит по ключу, тридцать слов в минуту, розовыми пальцами без мозолей, и не устаёт, и смотрит на людей давним своим взглядом, от которого мне хотелось одновременно обнять её и отступить. Я не знаю. Места на бланке не осталось, чернил на донышке, а воскресная тишина оборвалась — провод загудел, Лилль зовёт, пора работать.

Бланк подписан: «М.-Л. Перрен. 2-й разряд. Ст. «Норд».»

На обороте — штемпель: «Форма 12-bis. Брак. Не использовать.»

Глава третья

Льеж, 1874.

Письмо пришло без обратного адреса, в плотном кремовом конверте с сургучной печатью, на которой я не разобрала рисунка — что-то круглое, с буквами, оттиснутое перстнем. Сургуч пах пчелиным воском и дымом, и запах не имел отношения ни к Парижу, ни к почте, ни к кому из тех, кто мог бы мне написать, а писать мне было некому.

Внутри лежал один-единственный лист тяжёлой зернистой бумаги, тряпичной, какую берут, не глядя на цену. Почерк мелкий, угловатый, с наклоном влево, и каждая буква стояла отдельно, как солдат в строю, словно писавший не доверял им настолько, чтобы позволить держаться друг за друга.

«Мадемуазель Дюваль.

Три года назад в подвале на Рю-де-Риволи я сказал Вам: долгая история, потом расскажу. Потом наступило. Приезжайте в Льеж. Площадь Сен-Ламбер, дом у аптеки, зелёная дверь. Спуститесь в подвал. Вас ждут.

Приложение: билет второго класса, поезд 14:20 с Северного вокзала. Это не любезность. Вы поедете в любом случае, а девяти франков у Вас нет.

Не опаздывайте. Мы существуем три тысячи лет и за это время не научились ждать.»

Подписи не стояло, вместо неё был запах. Я поднесла бумагу к лицу и вдохнула полынь — горькую, сухую, степную, ту самую, что держалась в подвале на Риволи, когда я лежала с дырой в груди и старик сказал: «Интересно».

Тридцать шесть месяцев прошло без единого знака. Я жила с пулей, прошедшей насквозь и не убившей, с лицом, которое не менялось, с пальцами, гладкими без мозолей, и ни одного объяснения не получила. Оставались полынь в памяти и жакет с аккуратным отверстием там, где сердце, — бурым по краю, с чёрной каймой. Я его выбросила, а он снился мне по ночам.

Теперь на столе передо мной лежал картонный прямоугольник с пробитой датой.

* * *

С Северного вокзала я вышла за час до отправления и поднялась на второй этаж, в бюро, где два года просидела за восьмым столом. Леру дал мне бланк, не спросив, зачем, — только сдвинул пенсне и посмотрел на меня дольше, чем нужно, чтобы подать бланк. Я заполнила депешу в Льеж, на имя дома у аптеки на площади Сен-Ламбер: «Выехала. Буду к семи. Дюваль». Четыре слова, восемьдесят два удара, полтора франка. Фернан отстучал их сам и сказал, что за ним ещё две бриоши.

Поезд шёл на Брюссель и дальше через Намюр. Вагон пах лаком, табаком и угольной пылью, сиденья были деревянные, с кожаными подушками, продавленными чужими спинами. Напротив дремал священник — толстый, сонный, с требником на коленях и пятном от соуса на рясе. Он всякий раз просыпался на стыках рельсов, находил взглядом свой саквояж и засыпал снова. Рядом сидела женщина с корзиной, из которой торчала морковная ботва и куриная голова, покачивавшаяся в такт ходу. Везла она птицу свекрови и всю дорогу пересчитывала мелочь в кулаке, будто боялась, что на обратный билет не хватит. За окном тянулся Париж, потом пригороды, потом поля — сжатые, бурые, со скирдами и грачами на жнивье, — и небо висело низкое, ноябрьское, цвета мокрого картона.

Вдоль насыпи шли столбы — деревянные, с фарфоровыми изоляторами, белыми, как птичьи яйца на ветке. Провода между ними провисали лёгкими дугами, и по этой меди прямо сейчас, обгоняя нас, шли в Брюссель и Льеж чужие депеши, а среди них моя — четыре слова, ушедшие раньше меня. Я смотрела на дуги и понимала, что приеду вторая.

* * *

Льез открылся с моста — серый, промышленный, накрытый ватным одеялом дыма из труб. Маас тек по центру, мутный и широкий, и баржи скользили по нему бесшумно, как утюги по ткани. Мостовые были мокрые, из тёмного камня, с трамвайными рельсами, врезанными в булыжник, и в колеях стояла вода. Пахло углём, водой и шоколадом из кондитерской на углу, откуда выглядывал подмастерье с усами в какао-порошке, и он проводил меня взглядом, прежде чем вернуться к противню.

Площадь Сен-Ламбер я нашла по аптеке — угловой, с вывеской, на которой золотой лев держал в лапе пестик. Оттуда несло камфорой и лавандой, и запах выходил на улицу и мешался с угольным.

Дом у аптеки оказался узким, трёхэтажным, кирпичным, с зелёной дверью, краска на которой вздулась и свернулась лепестками. Такую не открывали лет десять — или сто, разница невелика, облупливается одинаково.

Я толкнула, и створка подалась — не заперто.

Прихожая была тёмной и узкой, с каменным полом и запахом, который я узнала сразу: старая бумага, воск, сырой камень — как на Риволи, только гуще и настоянней, будто бульон после долгой варки. К бумаге и воску примешивалось живое и домашнее — давленный чеснок. Я остановилась и прислушалась.

Снизу, из-за каменной лестницы, доносились голоса. Первый был высокий, возбуждённый, весь из чисел:

— Двести четырнадцать франков! За квартал! Ты представляешь себе, Грегориус, двести четырнадцать! Из них сто семьдесят — на свечи! На свечи! В городе, где есть газовое освещение!

Второй звучал тихо и без нажима, как у человека, привыкшего, что его слушают не за громкость:

— Мишель, сядь.

— Не сяду! Газ — три франка в месяц. Три! А свечи — сто семьдесят! Оттого что Лео отказывается работать при газовом свете. Говорит — глаза! Какие глаза, Грегориус, ему тысяча двести лет!

Третий голос был глуховатый, с обидой:

— Мои глаза. Мои. При свечах буквы тёплые, при газе — холодные. Как сказал Экклезиаст...

— Лео, не начинай.

— ...«и свет сладок, и приятно для глаз видеть солнце». Глава одиннадцать, стих семь. Экклезиаст имел в виду свечи.

— Экклезиаст не имел в виду сто семьдесят франков за квартал!

Женский голос был негромкий и спокойный:

— Мальчики. Суп стынет.

Тишина наступила мгновенно, и в ней стало слышно бульканье и стук ложки о край миски. Запах чеснока усилился, к нему прибавился укроп и что-то мясное, тёмное, долговарёное.

Я спустилась.

* * *

Подвал был старый, каменный, сводчатый, и на потолке поблёскивал конденсат, как пот на лбу. Свечи стояли повсюду — на столе, на полках, в нишах, на перевёрнутом бочонке, — и от них шло жёлтое тепло, а тени ходили по стенам. Спустилась я будто не в бельгийский дом, а в монастырскую крипту, где переписывают рукописи.

Вместо монахов за длинным столом, накрытым клеёнкой в клетку, сидели пятеро.

Первого я узнала по запаху, ещё не разглядев лица. Он занимал единственное кресло в торце — маленький, сухой, в той же одежде, что три года назад, или в такой же, не отличишь.

Перед ним не лежало ни бумаг, ни счётов: он грел ладони о чашку с чаем, обхватив её обеими руками, будто озяб, и в тёплом подвале это выглядело странно.

— Добрались, — сказал он и поднял на меня жёлтые глаза, видящие целиком.

Не «здравствуйте», не «рад видеть», а «добрались», словно я шла эти годы пешком и наконец дошла. В каком-то смысле так и было.

Справа сидел тот, кто кричал о свечах, — худой, среднего роста, с бегающими глазами и конторскими счётами, костяшки которых щёлкали без остановки, будто пальцы не умели покоиться без числа. Лоб у него блестел, губы шевелились, и весь он был цифра в поисках суммы.

— Мишель, — представил старик. — Финансы.

— Двести четырнадцать, — сказал мне Мишель, уверенный, что я в курсе дела. — Двести четырнадцать франков.

— Мишель.

Мишель замолчал, но пальцы его продолжали перебирать костяшки.

Слева сидел высокий, тонкий, сутулый человек в колпаке — не ночном, а средневековом, будто голова его жила в другом столетии, а тело по ошибке попало в это. Перед ним лежала раскрытая книга в кожаном переплёте, и он читал, не поднимая глаз, и кончик пера торчал у него из-за уха.

— Леонардус. Тексты. Не отвлекай, он переводит.

— Что переводит? — спросила я.

— Меня. С древнееврейского на понятный. Третью тысячу лет.

Леонардус поднял серые водянистые глаза, кивнул мне и опустил их обратно.

— Как сказал Экклезиаст, — пробормотал он, — «что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем».

— Лео.

— Молчу, Грегориус.

У плиты стояла женщина с кастрюлей. Она мешала суп, и ложка ходила по кругу непрерывно, как часовая стрелка, а от горячего пара её руки покраснели. Она обернулась — круглое лицо, тёплые глаза, полотенце через плечо.

— Деточка. Худая. Бледная. Когда ела?

— Утром.

— Утром — это давно. Садись.

— Розалия, — сказал старик. — Кадры.

— Суп, — поправила она и поставила передо мной миску. Бульон был золотистый, с кружочками жира, с веточкой укропа и куском мяса на дне, пар поднимался и щекотал лицо, и я вдруг поняла, что голодна не с утра, а с той самой весны.

Пятый сидел в дальнем конце, у стены, — широкоплечий, темноволосый, с большими тяжёлыми руками, лежавшими на столе ладонями вниз. Такие руки знают камень, дерево и железо. Перед ним не было ничего: ни книги, ни счётов, ни чашки. Он смотрел в стену, и я проследила взгляд — по камню шла трещина, тонкая, ветвистая, от свода до пола, как русло реки на карте.

— Шимон. Строительство и всё, что чинится.

Он повернул голову, кивнул и вернулся к трещине.

— С прошлого века стоит, — сказал он. — Починю.

— Когда? — спросил Мишель.

— Завтра.

Счёты отозвались коротким злым щелчком.

— Значит, никогда.

Шимон промолчал и снова повернулся к стене. Старик поставил чашку.

— Мадемуазель Дюваль. Жанна. Вы спрашивали, кто я. Мы — Комитет по делам вечности. Мне три тысячи лет. Шимону столько же. Леонардусу тысяча двести. Мишелю восемьсот. Розалии шестьсот. Вам двадцать шесть.

— По бумагам, — уточнил Мишель. — Разницу могу посчитать, если понадобится. И мне не восемьсот, а пятьсот восемьдесят девять. Провен, ярмарка, тысяча двести восемьдесят пятый.

— Восемьсот, — сказал старик, не оборачиваясь.

— Пятьсот восемьдесят девять.

— За давностью округляю.

— Мишель, — сказала Розалия.

— Молчу.

— А у вас что? — спросила я. — У Мишеля финансы, у Розалии кадры, у Шимона трещина. У вас?

— У меня — они, — сказал он и повёл рукой вдоль стола, будто показывал хозяйство. — Больше ничего. Три тысячи лет одна должность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.